

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Глава из повести «Записки из Мертвого дома», 1860–1861

На третий день праздника, вечером, состоялось представление в нашем театре. Предварительных хлопот по устройству, вероятно, было много, но актеры взяли все на себя, так что все мы, остальные, и не знали: в каком положении дело? что именно делается? даже хорошенько не знали, что будет представляться. Актеры все эти три дня, выходя на работу, старались как можно более добыть костюмов. Баклушин, встречаясь со мной, только прищелкивал пальцами от удовольствия. Кажется, и на плац-майора нашел порядочный стих. Впрочем, нам было совершенно неизвестно, знал ли он о театре. Если знал, то позволил ли его формально или только решился молчать, махнув рукой на арестантскую затею и подтвердив, разумеется, чтоб все было по возможности в порядке? Я думаю, он знал о театре, не мог не знать; но вмешиваться не хотел, понимая, что может быть хуже, если он запретит: арестанты начнут шалить, пьянствовать, так что гораздо лучше, если чем-нибудь займутся. Я, впрочем, предполагаю в плац-майоре такое рассуждение единственно потому, что оно самое естественное, самое верное и здоровое. Даже так можно сказать: если б у арестантов не было на праздниках театра или какого-нибудь занятия в этом роде, то его следовало самому начальству выдумать. Но так как наш плац-майор отличался совершенно обратным способом мышления, чем остальная часть человечества, то очень немудрено, что я беру большой грех на себя, предполагая, что он знал о театре и позволил его. Такому человеку, как плацмайор, надо было везде кого-нибудь придавить, что-нибудь отнять, кого-нибудь лишить права — одним словом, где-нибудь произвести распорядок. В этом отношении он был известен в целом городе. Какое ему дело, что именно от этих стеснений в остроге могли выйти шалости? На шалости есть наказания (рассуждают такие, как наш плац-майор), а с мошенниками-арестантами строгость и беспрерывное, буквальное исполнение закона — вот и все, что требуется! Эти бездарные исполнители закона решительно не понимают, да и не в состоянии понять, что одно буквальное исполнение его, без смысла, без понимания духа его, прямо ведет к беспорядкам, да и никогда к другому не приводило. «В законах сказано, чего же больше?» — говорят они и искренно удивляются, что от них еще требуют, впридачу к законам, здравого рассудка и трезвой головы. Последнее особенно кажется многим из них излишнею и возмутительною роскошью, стеснением, нетерпимостью.

Но как бы то ни было, старший унтер-офицер не противоречил арестантам, а им только того и надо было. Я утвердительно скажу, что театр и благодарность за то, что его позволили, были причиною, что на праздниках не было ни одного серьезного беспорядка в остроге: ни одной злокачественной ссоры, ни одного воровства. Я сам был свидетелем, как свои же унимали иных разгулявшихся или ссорившихся единственно под тем предлогом, что запретят театр. Унтер-офицер взял с арестантов слово, что все будет тихо и вести будут себя хорошо. Согласились с радостью и свято исполняли обещание; льстило тоже очень, что верят их слову. Надо, впрочем, сказать, что позволить театр решительно ничего не стоило начальству, никаких пожертвований. Предварительно места не огораживали: театр созидался и разнимался весь в какие-нибудь четверть часа. Продолжался он полтора часа, и, если б вдруг вышло свыше приказание прекратить представление, — дело бы обделалось в один миг. Костюмы были спрятаны в сундуках у арестантов. Но прежде чем скажу, как устроен был театр и какие именно были костюмы, скажу об афише театра, то есть что именно предполагалось играть.

Собственно писаной афишки не было. На второе, на третье представление явилась, впрочем, одна, написанная Баклушиным для гг. офицеров и вообще благородных посетителей, удостоивших наш театр, еще в первое представление, своим посещением. Именно: из господ приходил обыкновенно караульный офицер, и однажды зашел сам дежурный по караулам. Зашел тоже раз инженерный офицер; вот на случай этих-то посетителей и создавалась афишка. Предполагалось, что слава

острожного театра прогремит далеко в крепости и даже в городе, тем более что в городе не было театра. Слышно было, что составился на одно из представлений из любителей, да и только. Арестанты, как дети, радовались малейшему успеху, тщеславились даже. «Ведь кто знает, — думали и говорили у нас про себя и между собою, — пожалуй, и самое высшее начальство узнает; придут и посмотрят; увидят тогда, какие есть арестанты. Это не просто солдатское представление, с какими-то чучелами, с пływучими лодками, с ходячими медведями и козами. Тут актеры, настоящие актеры, господские комедии играют; такого театра и в городе нет. У генерала Абросимова было раз, говорят, представление и еще будет; ну, так, может, только костюмами и возьмут, а насчет разговору, так еще кто знает перед нашими-то! До губернатора дойдет, пожалуй, и — чем черт не шутит? — может, и сам захочет прийти посмотреть. В городе-то нет театра...» Одним словом, фантазия арестантов, особенно после первого успеха, дошла на праздниках до последней степени, чуть ли не до наград или до уменьшения срока работ, хотя в то же время и сами они почти тотчас же предобродушно принимались смеяться над собою. Одним словом, это были дети, вполне дети, несмотря на то, что иным их этих детей было по сороку лет. Но, несмотря на то, что не было афиш, я уже знал в главных чертах состав предполагаемого представления. Первая пьеса была: «Филатка и Мирошка соперники». Баклушин еще за неделю до представления хвалился передо мной, что роль самого Филатки, которую он брал на себя, будет так представлена, что и в санкт-петербургском театре не выдывали. Он расхаживал по казармам, хвастался немилосердно и бесстыдно, а вместе с тем и совершенно добродушно, а иногда вдруг, бывало, отпустит что-нибудь «по-театральному», то есть из своей роли, — и все хохочут, смешно или не смешно то, что он отпустил. Впрочем, надо признаться, и тут арестанты умели себя выдержать и достоинство соблюсти: восторгались выходками Баклушина и рассказами о будущем театре или только самый молодой и желторотый народ, без выдержки, или только самые значительные из арестантов, которых авторитет был незыблемо установлен, так что им уж нечего было бояться прямо выражать свои ощущения, какие бы они ни были, хотя бы самого наивного (то есть, по острожным понятиям, самого неприличного) свойства. Прочие же выслушивали слухи и толки молча, правда, не осуждали, не противоречили, но всеми силами старались отнестись к слухам о театре равнодушно и даже отчасти и свысока. Только уж в последнее время, в самый почти день представления, все начали интересоваться: что-то будет? как-то наши? что плац-майор? удастся ли так же, как в запрошлом году? и проч. Баклушин уверял меня, что все актеры подобраны великолепно, каждый «к своему месту». Что даже и занавес будет. Что Филаткину невесту будет играть Сироткин, — и вот сами увидите, каков он в женском-то платье! — говорил он, прищуриваясь и прищелкивая языком. У благотельной помещицы будет платье с фальбалой, и пелеринка, и зонтик в руках, а благотельный помещик выйдет в офицерском сюртуке с эксельбантами и с тросточкой. Затем следовала вторая пьеса, драматическая: «Кедрил-обжора». Название меня очень заинтересовало; но как я ни расспрашивал об этой пьесе — ничего не мог узнать предварительно. Узнал только, что взята она не из книги, а по «списку»; что пьесу достали у какого-то отставного унтер-офицера, в форштадте, который, верно, сам когда-нибудь участвовал в представлении ее на какой-нибудь солдатской сцене. У нас в отдаленных городах и губерниях действительно есть такие театральные пьесы, которые, казалось бы, никому не известны, может быть, нигде никогда не напечатаны, но которые сами собой откуда-то явились и составляют необходимую принадлежность всякого народного театра в известной полосе России. Кстати: я сказал «народного театра». Очень бы и очень хорошо было, если б кто из наших изыскателей занялся новыми и более тщательными, чем доселе, исследованиями о народном театре, который есть, существует и даже, может быть, не совсем ничтожный. Я верить не хочу, чтобы все, что я потом видел у нас, в нашем острожном театре, было выдуманно нашими же арестантами. Тут необходима преемственность предания, раз установленные приемы и понятия, переходящие из рода в род и по старой памяти. Искать их надо у солдат, у фабричных, в фабричных городах и даже по некоторым незнакомым бедным городкам у мещан. Сохранились тоже они по деревням и по губернским городам между дворянами больших помещичьих домов. Я даже думаю, что многие старинные пьесы расплодилось в списках по России не иначе, как через помещицкую дворню. У прежних старинных помещиков и московских бар бывали собственные театры, составленные из крепостных артистов. И вот в этих-то театрах и получилось начало нашего народного

драматического искусства, которого признаки несомненны. Что же касается до «Кедрила-обжора», то, как ни желалось мне, я ничего не мог узнать о нем предварительно, кроме того, что на сцене появляются злые духи и уносят Кедрила в ад. Но что такое значит Кедрил и, наконец, почему Кедрил, а не Кирилл? русское ли это или иностранное происшествие? — этого я никак не мог добиться. В заключение объявлялось, что будет представляться «пантомима под музыку». Конечно, все это было очень любопытно. Актеров было человек пятнадцать — все бойкий и бравый народ. Они гомозились про себя, делали репетиции, иногда за казармами, таились, прятались. Одним словом, хотели удивить всех нас чем-то необыкновенным и неожиданным.

В будни острог запирался рано, как только наступала ночь. В рождественский праздник сделано было исключение: не запирали до самой вечерней зари. Эта льгота давалась собственно для театра. В продолжение праздника обыкновенно каждый день, перед вечером, посылали из острога с покорнейшей просьбой к караульному офицеру: «Позволить театр и не запирайте подольше острога», прибавляя, что и вчера был театр и долго не запирался, а беспорядков никаких не было. Караульный офицер рассуждал так: «Беспорядков действительно вчера не было; а уж как сами слово дают, что не будет и сегодня, значит, сами за собой будут смотреть, а это всего крепче. К тому же не позволю представления, так, пожалуй (кто их знает? народ каторжный!), нарочно что-нибудь напакостят со зла и караульных подведут». Наконец, и то: в карауле стоять скучно, а тут театр, да не просто солдатский, а арестантский, а арестанты народ любопытный: весело посмотреть. А посмотреть караульный офицер всегда вправе.

Приедет дежурный: «Где караульный офицер?» — «Пошел в острог арестантов считать, казармы запирают», — ответ прямой, и оправдание прямое. Таким образом, караульные офицеры каждый вечер в продолжение всего праздника позволяли театр и не запирали казарм вплоть до вечерней зари. Арестанты и прежде знали, что от караула не будет препятствия, и были покойны.

Часу в седьмом пришел за мной Петров, и мы вместе отправились на представление. Из нашей казармы отправились почти все, кроме черниговского старовера и поляков. Поляки только в самое последнее представление, четвертого января, решились побывать в театре, и то после многих уверений, что там и хорошо, и весело, и безопасно. Брезгливость поляков нимало не раздражала каторжных, а встречены они были четвертого января очень вежливо. Их даже пропустили на лучшие места. Что же касается до черкесов и в особенности Исаея Фомича, то для них наш театр был истинным наслаждением. Исаея Фомич каждый раз давал по три копейки, а в последний раз положил на тарелку десять копеек, и блаженство изображалось на лице его. Актеры положили собирать с присутствующих, кто сколько даст, на расходы театру и на свое собственное подкрепление. Петров уверял, что меня пустят на одно из первых мест, как бы ни был набит битком театр, на том основании, что я, как богаче других, вероятно, и больше дам, а к тому же и толку больше ихнего знаю. Так и случилось. Но опишу первоначально залу и устройство театра.

Военная казарма наша, в которой устроился театр, была шагов в пятнадцать длиною. С двора вступали на крыльцо, с крыльца в сени, а из сеней в казарму. Эта длинная казарма, как уже и сказал я, была особого устройства: нары тянулись в ней по стене, так что середина комнаты оставалась свободной. Половина комнаты, ближайшая от выхода с крыльца, была отдана зрителям; другая же половина, которая сообщалась с другой казармой, назначалась для самой сцены. Прежде всего меня поразила занавесь. Она натянулась шагов на десять поперек всей казармы. Занавесь была такою роскошью, что действительно было чему подивиться. Кроме того, она была расписана масляной краской: изображались деревья, беседки, пруды и звезды. Составилась она из холста, старого и нового, кто сколько дал и пожертвовал, из старых арестантских онучек и рубах, кое-как сшитых в одно большое полотнище, и, наконец, часть ее, на которую не хватило холста, была просто из бумаги, тоже выпрошенной по листочку в разных канцеляриях и приказах. Наши же маляры, между которыми отличался и «Брюллов» — А-в, позаботились раскрасить и расписать ее. Эффект был удивительный. Такая роскошь радовала даже самых угрюмых и самых щепетильных арестантов, которые, как дошло до представления,

оказались все без исключения такими же детьми, как и самые горячие из них и нетерпеливые. Все были очень довольны, даже хвастливо довольны. Освещение состояло из нескольких сальных свечек, разрезанных на части. Перед занавесью стояли две скамейки из кухни, а перед скамейками три-четыре стула, которые нашлись в унтер-офицерской комнате. Стулья назначались на случай, для самых высших лиц офицерского звания. Скамейки же — для унтер-офицеров и инженерных писарей, кондукторов и прочего народа, хотя и начальствующего, но не в офицерских чинах, на случай, если б они заглянули в острог. Так и случилось: посторонние посетители у нас не переводились во весь праздник; иной вечер приходило больше, другой меньше, а в последнее представление так ни одного места на скамьях не оставалось незанятым. И, наконец, уже сзади скамеек, помещались арестанты, стоя, из уважения к посетителям, без фуражек, в куртках или в полушубках, несмотря на удушливый парной воздух комнаты. Конечно, места для арестантов полагалось слишком мало. Но, кроме того, что один буквально сидел на другом, особенно в задних рядах, заняты были еще нары, кулисы, и, наконец, нашлись любители, постоянно ходившие за театр, в другую казарму, и уже оттуда, изза задней кулисы, высматривавшие представление. Теснота в первой половине казармы была неестественная и равнялась, может быть, тесноте и давке, которую я недавно еще видел в бане. Дверь в сени была отворена; в сенях, в которых было двадцать градусов морозу, тоже толпился народ. Нас, меня и Петрова, тотчас же пропустили вперед, почти к самым скамейкам, где было гораздо виднее, чем в задних рядах. Во мне отчасти видели ценителя, знатока, бывшего и не в таких театрах; видели, что Баклушин все это время советовался со мной и относился ко мне с уважением; мне, стало быть, теперь честь и место. Положим, арестанты были народ тщеславный и легкомысленный в высшей степени, но все это было напускное. Арестанты могли смеяться надо мной, видя, что я плохой им помощник на работе. Алмазов мог с презрением смотреть на нас, дворян, тщеславясь перед нами своим умением обжигать алебастр. Но к гонениям и к насмешкам их над нами примешивалось и другое: мы когда-то были дворяне; мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти. Но теперь, в театре, они посторонились передо мной. Они признавали, что в этом я могу судить лучше их, что я видал и знаю больше их. Самые не расположенные из них ко мне (я знаю это) желали теперь моей похвалы их театру и безо всякого самоунижения пустили меня на лучшее место. Я сужу теперь, припоминая тогдашнее мое впечатление. Мне тогда же показалось — я помню это, — что в их справедливом суде над собой было вовсе не принижение, а чувство собственного достоинства. Высшая и самая резкая характеристическая черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее. Петушиной же замашки быть впереди во всех местах и во что бы то ни стало, стоит ли, нет ли того человек, — этого в народе нет. Стоит только снять наружную, наносную кору и посмотреть на самое зерно повнимательнее, поближе, без предрассудков — и иной увидит в народе такие вещи, о которых и не предугадывал. Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже, утвердительно скажу, — напротив: сами они еще должны у него поучиться.

Петров наивно сказал мне, когда мы только еще собирались в театр, что меня пустят вперед и потому еще, что я дам больше денег. Положенной цены не было: всякий давал, что мог или что хотел. Почти все положили что-нибудь, хоть по грошу, когда пошли собирать на тарелку. Но если меня пустили вперед отчасти и за деньги, в предположении, что я дам больше других, то опять-таки сколько было в этом чувства собственного достоинства! «Ты богаче меня и ступай вперед, и хоть мы здесь все равны, но ты положишь больше: следовательно, такой посетитель, как ты, приятнее для актеров, — тебе и первое место, потому что все мы здесь не за деньги, а из уважения, а следовательно, сортировать себя мы должны уже сами». Сколько в этом настоящей благородной гордости! Это не уважение к деньгам, а уважение к самому себе. Вообще же к деньгам, к богатству, в остроге не было особенного уважения, особенного если смотреть на арестантов на всех безразлично, в массе, в артели. Я не помню даже ни одного из них, серьезно унижавшегося из-за денег, если б пришлось даже рассматривать их и поодиночке. Были попрошайки, выпрашивавшие и у меня. Но в этом попрошайстве было больше шалости, плутовства, чем прямого дела; было больше юмору, наивности. Не знаю, понятно ли я выражаюсь... Но я забыл о театре. К делу.

До поднятия занавеса вся комната представляла странную и оживленную картину. Во-первых, толпа зрителей, сдавленная, сплюснутая, стиснутая со всех сторон, с терпением и с блаженством в лице ожидающая начала представления. В задних рядах люди, гомозящиеся один на другого. Многие из них принесли с собой поленья с кухни: установив кое-как у стенки толстое полено, человек взбирался на него ногами, обеими руками упирался в плеча вперед стоящего и, не изменяя положения, стоял таким образом часа два, совершенно довольный собою и своим местом. Другие укреплялись ногами на печи, на нижней приступке, и точно так же выстаивали все время, опираясь на передовых. Это было в самых задних рядах, у стены. Сбоку, взмопившись на нары, стояла тоже сплошная толпа над музыкантами. Тут были хорошие места. Человек пять взмопнулись на самую печь и, лежа на ней, смотрели вниз. То-то блаженствовали! На подоконниках по другой стене тоже гомозились целые толпы опоздавших или не нашедших хорошего места. Все вели себя тихо и чинно. Всем хотелось себя выказать перед господами и посетителями с самой лучшей стороны. На всех лицах выражалось самое наивное ожидание. Все лица были красные и смоченные потом от жару и духоты. Что за странный отблеск детской радости, милого, чистого удовольствия сиял на этих изборожденных, клейменных лбах и щеках, в этих взглядах людей, доселе мрачных и угрюмых, в этих глазах, сверкавших иногда страшным огнем! Все были без шапок, и с правой стороны все головы представлялись мне бритыми. Но вот на сцене слышится возня, суетня. Сейчас подымется занавесь. Вот заиграл оркестр... Этот оркестр стоит упоминания. Сбоку, по нарам, разместилось человек восемь музыкантов: две скрипки (одна была в остроге, другую у кого-то заняли в крепости, а артист нашелся и дома), три балалайки — все самодельщина, две гитары и бубен вместо контрабаса. Скрипки только визжали и пилили, гитары были дрянные, зато балалайки были неслыханные. Проворство переборки струн пальцами решительно равнялось самому ловкому фокусу. Игрались всё плясовые мотивы. В самых плясовых местах балалаечники ударяли костями пальцев о деку балалайки; тон, вкус, исполнение, обращение с инструментами, характер передачи мотива — все было свое, оригинальное, арестантское. Один из гитаристов тоже великолепно знал свой инструмент. Это был тот самый из дворян, который убил своего отца. Что же касается до бубна, то он просто делал чудеса: то завертится на пальце, то большим пальцем проведет по его коже, то слышатся частые, звонкие и однообразные удары, то вдруг этот сильный, отчетливый звук как бы рассыпается горохом на бесчисленное число маленьких, дребезжащих и шушуркающих звуков. Наконец, появились еще две гармонии. Честное слово, я до тех пор не имел понятия о том, что можно сделать из простых, простонародных инструментов; согласие звуков, сыгранность, а главное, дух, характер понятия и передачи самой сущности мотива были просто удивительные. Я в первый раз понял тогда совершенно, что именно есть бесконечно разгульного и удалого в разгульных и удалых русских плясов песнях. Наконец поднялась занавесь. Все пошевелились, все переступили с одной ноги на другую, задние привстали на цыпочки; кто-то упал с полена; все до единого раскрыли рты и устали глаза, и полнейшее молчание воцарилось... Представление началось.

Подле меня стоял Алей, в группе своих братьев и всех остальных черкесов. Они все страстно привязались к театру и ходили потом каждый вечер. Все мусульмане, татары и проч., как замечал я не один раз, всегда страстные охотники до всяких зрелищ. Подле них прикурнул и Исай Фомич, который, казалось, с поднятием занавеса весь превратился в слух, в зрение и в самое наивное, жадное ожидание чудес и наслаждений. Даже жалко было бы, если б он разочаровался в своих ожиданиях. Милое лицо Алея сияло такой детской, прекрасною радостью, что, признаюсь, мне ужасно было весело на него смотреть, и я, помню, невольно каждый раз при какой-нибудь смешной и ловкой выходке актера, когда раздавался всеобщий хохот, тотчас же оборачивался к Алею и заглядывал в его лицо. Он меня не видал; не до меня ему было! Очень недалеко от меня, с левой стороны, стоял арестант, пожилой, всегда нахмуренный, всегда недовольный и ворчливый. Он тоже заметил Алея и, я видел, несколько раз с полуулыбкой оборачивался поглядеть на него: так он был мил! «Алей Семеныч» называл он его, не знаю зачем. Начали «Филаткой и Мирошкой». Филатка (Баклушин) был действительно великолепен. Он сыграл свою роль с удивительною отчетливостью. Видно было, что он вдумывался в каждую фразу, в каждое движение свое. Каждому пустому слову, каждому жесту своему он умел придать смысл и

значение, совершенно соответственное характеру своей роли. Прибавьте к этому старанию, к этому изучению удивительную, неподдельную веселость, простоту, безыскусственность, и вы, если б видели Баклушина, сами согласились бы непременно, что это настоящий прирожденный актер, с большим талантом. Филатку я видел не раз на московском и петербургском театрах и положительно говорю — столичные актеры, игравшие Филатку, оба играли хуже Баклушина. В сравнении с ним они были пейзажи, а не настоящие мужики. Им слишком хотелось представить мужика. Баклушина, сверх того, возбуждало соперничество: всем известно, что во второй пьесе роль Кедрила будет играть арестант Поцейкин, актер, которого все почему-то считали даровитее, лучше Баклушина, и Баклушин страдал от этого, как ребенок. Сколько раз приходил он ко мне в эти последние дни и изливал свои чувства. За два часа до представления его трясла лихорадка. Когда хохотали и кричали ему из толпы: «Лихо, Баклушин! Ай да молодец!» — все лицо его сияло счастьем, настоящее вдохновение блистало в глазах его. Сцена целования с Мирошкой, когда Филатка кричит ему предварительно «утрись!» и сам утирается, вышла уморительно смешна. Все так и покатились со смеху. Но всего занимательнее для меня были зрители; тут уж все были нараспашку. Они отдавались своему удовольствию беззаветно. Крики одобрения раздавались все чаще и чаще. Вот один подталкивает товарища и наскоро сообщает ему свои впечатления, даже не заботясь и, пожалуй, не видя, кто стоит подле него; другой, при какой-нибудь смешной сцене, вдруг с восторгом оборачивается к толпе, быстро оглядывает всех, как бы вызывая всех смеяться, машет рукой и тотчас же опять жадно обращается к сцене. Третий просто прищелкнет языком и пальцами и не может смирно устоять на месте; а так как некуда идти, то только переминается с ноги на ногу. К концу пьесы общее веселое настроение дошло до высшей степени. Я ничего не преувеличиваю. Представьте острог, кандалы, неволю, долгие грустные годы впереди, жизнь, однообразную, как водяная капля в хмурый, осенний день, — и вдруг всем этим пригнетенным и заключенным позволили на часок развернуться, повеселиться, забыть тяжелый сон, устроить целый театр, да еще как устроить: на гордость и на удивление всему городу, — знай, дескать, наших, каковы арестанты! Их, конечно, все занимало, костюмы например. Ужасно любопытно было для них увидеть, например, такого-то Ваньку Отпетого, али Нецветаева, али Баклушина совсем в другом платье, чем в каком столько уж лет их каждый день видели. «Ведь арестант, тот же арестант, у самого кандалы побрякивают, а вот выходит же теперь в сюртуке, в круглой шляпе, в плаще — точно штатский! Усы себе приделал, волосы. Вон платочек красный из кармана вынул, обмахивается, барина представляет, точно сам ни дать ни взять барин!» И все в восторге. Благодетельный помещик вышел в адъютантском мундире, правда очень стареньком, в эполетах, в фуражке с кокардочкой и произвел необыкновенный эффект. На эту роль было два охотника, и — поверят ли? — оба, точно маленькие дети, ужасно поссорились друг с другом за то, кому играть: обоим хотелось показаться в офицерском мундире с эксельбантами! Их уж разнимали другие актеры и присудили большинством голосов отдать роль Нецветаеву, не потому, что он был казистее и красивее другого и таким образом лучше бы походил на барина, а потому, что Нецветаев уверил всех, что он выйдет с тросточкой и будет так ею помахивать и по земле чертить, как настоящий барин и первейший франт, чего Ваньке Отпетому и не представить, потому настоящих господ он никогда и не видывал. И действительно, Нецветаев, как вышел с своей барыней перед публику, только и делал, что быстро и бегло чертил тоненькой камышовой тросточкой, которую откуда-то достал, по земле, вероятно считая в этом признаки самой высшей господственности, крайнего щегольства и фешени. Вероятно, когда-нибудь еще в детстве, будучи дворовым, босоногим мальчишкой, случилось ему увидеть красиво одетого барина с тросточкой и плениться его умением вертеть ею, и вот впечатление навеки и неизгладимо осталось в душе его, так что теперь, в тридцать лет от роду, припомнилось все, как было, для полного пленения и прельщения всего острога. Нецветаев был до того углублен в свое занятие, что уж и не смотрел ни на кого и никуда, даже говорил, не подымая глаз, и только и делал, что следил за своей тросточкой и за ее кончиком. Благодетельная помещица была тоже в своем роде чрезвычайно замечательна: она явилась в старом, изношенном кисейном платье, смотревшем настоящей тряпкой, с голыми руками и шеей, страшно набеленным и нарумяненным лицом, в спальном коленкоровом чепчике, подвязанном у подбородка, с зонтиком в одной руке и с веером из разрисованной бумаги в другой, которым она беспрерывно обмахивалась. Залп хохоту встретил барыню; да и сама барыня не

выдержала и несколько раз принималась хохотать. Играл барыню арестант Иванов. Сироткин, переодетый девушкой, был очень мил. Куплеты тоже сошли хорошо. Одним словом, пьеса кончилась к самому полному и всеобщему удовольствию. Критики не было, да и быть не могло.

Проиграли еще раз увертюру «Сени, мои сени», и вновь поднялась занавесь. Это Кедрил. Кедрил что-то вроде Дон-Жуана; по крайней мере и барина и слугу черти под конец пьесы уносят в ад. Давался целый акт, но это, видно, отрывок; начало и конец затеряны. Толку и смыслу нет ни малейшего. Действие происходит в России, где-то на постоялом дворе. Трактирщик вводит в комнату барина в шинели и в исковерканной шляпе. За ним идет его слуга Кедрил с чемоданом и с завернутой в синюю бумагу курицей. Кедрил в полушубке и в лакейском картузе. Он-то и есть обжора. Играет его арестант Поцейкин, соперник Баклушина; барина играет тот же Иванов, что играл в первой пьесе благодетельную помещицу. Трактирщик, Нецветаев, предуведомляет, что в комнате водятся черти, и скрывается. Барин, мрачный и озабоченный, бормочет про себя, что он это давно знал, и велит Кедрилу разложить вещи и приготовить ужин. Кедрил трус и обжора. Услышав о чертях, он бледнеет и дрожит как лист. Он бы убежал, но трусит барина. Да, сверх того, ему и есть хочется. Он сластолюбив, глуп, хитер по-своему, трус, надувает барина на каждом шагу и в то же время боится его. Это замечательный тип слуги, в котором как-то неясно и отдаленно сказываются черты Лепорелло, и действительно замечательно переданный. Поцейкин с решительным талантом, и, на мой взгляд, актер еще лучше Баклушина. Я, разумеется, встречу на другой день с Баклушиным, не высказал ему своего мнения вполне: я бы слишком огорчил его. Арестант, игравший барина, сыграл тоже недурно. Вздор он нес ужаснейший, ни на что не похожий; но дикция была правильная, бойкая, жест соответственный. Покамест Кедрил возится с чемоданами, барин ходит в раздумье по сцене и объявляет во всеуслышание, что в нынешний вечер конец его странствований. Кедрил любопытно прислушивается, гримасничает, говорит a parte [в сторону (итал.)] и смешит с каждым словом зрителей. Ему не жаль барина; но он слышал о чертях; ему хочется узнать, что это такое, и вот он вступает в разговоры и в расспросы. Барин наконец объявляет ему, что когда-то в какой-то беде он обратился к помощи ада и черти помогли ему, выручили; но что сегодня срок и, может быть, сегодня же они придут, по условию, за душой его. Кедрил начинает шибко трусить. Но барин не теряет духа и велит ему приготовить ужин. Услыша про ужин, Кедрил оживляется, вынимает курицу, вынимает вино, — и нет-нет, а сам отщипнет от курицы и отведает. Публика хохочет. Вот скрипнула дверь, ветер стучит ставнями; Кедрил дрожит и наскоро, почти бессознательно упрячивает в рот огромный кусок курицы, который и проглотить не может. Опять хохот. «Готово ли?» — кричит барин, расхаживая по комнате. «Сейчас, сударь... я вам... приготовлю», — говорит Кедрил, сам садится за стол и преспокойно начинает уплетать барское кушанье. Публике, видимо, любо проворство и хитрость слуги и то, что барин в дураках. Надо признаться, что и Поцейкин стоил действительно похвалы. Слова: «Сейчас, сударь, я вам приготовлю» — он выговорил превосходно. Сев за стол, он начинает есть с жадностью и вздрагивает с каждым шагом барина, чтоб тот не заметил его проделок; чуть тот повернется на месте, он прячется под столом и тащит с собой курицу. Наконец он утоляет свой первый голод; пора подумать о барине. «Кедрил, скоро ли ты?» — кричит барин. «Готово-с!» — бойко отвечает Кедрил, спохватившись, что барину почти ничего не остается. На тарелке действительно лежит одна куриная ножка. Барин, мрачный и озабоченный, ничего не замечая, садится за стол, а Кедрил с салфеткой становится за его стулом. Каждое слово, каждый жест, каждая гримаса Кедрила, когда он, оборачиваясь к публике, кивает на простофилю барина, встречаются с неудержимым хохотом зрителями. Но вот, только что барин принимается есть, появляются черти. Тут уж ничего понять нельзя, да и черти появляются как-то уж слишком не людски: в боковой кулисе открывается дверь и является что-то в белом, а вместо головы у него фонарь со свечой; другой фантом тоже с фонарем на голове, в руках держит косу. Почему фонари, почему коса, почему черти в белом? никто не может объяснить себе. Впрочем, об этом никто не задумывается. Так уж, верно, тому и быть должно. Барин довольно храбро оборачивается к чертям и кричит им, что он готов, чтоб они брали его. Но Кедрил трусит, как заяц; он лезет под стол, но, несмотря на весь свой испуг, не забывает захватить со стола бутылку. Черти на минуту скрываются; Кедрил вылезает из-за стола; но только что барин принимается опять за курицу, как

три черта снова врываются в комнату, подхватывают барина сзади и несут его в преисподнюю. «Кедрил! спасай меня!» — кричит барин. Но Кедрилу не до того. Он в этот раз и бутылку, и тарелку, и даже хлеб стащил под стол. Но вот он теперь один, чертей нет, барина тоже. Кедрил вылезает, осматривается, и улыбка озаряет лицо его. Он плутовски прищуривается, садится на барское место и, кивая публике, говорит полупшепотом:

— Ну, я теперь один... без барина!..

Все хохочут тому, что он без барина; но вот он еще прибавляет полупшепотом, конфиденциально обращаясь к публике и все веселее и веселее подмигивая глазком:

— Барина-то черти взяли!..

Восторг зрителей беспредельный! Кроме того, что барина черти взяли, это было так высказано, с таким плутовством, с такой насмешливо-торжествующей гримасой, что действительно невозможно не аплодировать. Но недолго продолжается счастье Кедрила. Только было он распорядился бутылкой, налил себе в стакан и хотел пить, как вдруг возвращаются черти, крадутся сзади на цыпочках и цап-царап его под бока. Кедрил кричит во все горло; от трусости он не смеет оборотиться. Защищаться тоже не может: в руках бутылка и стакан, с которыми он не в силах расстаться. Разинув рот от ужаса, он с полминуты сидит, выпуча глаза на публику, с таким уморительным выражением трусливого испуга, что решительно с него можно было писать картину. Наконец его несут, уносят; бутылка с ним, он болтает ногами и кричит, кричит. Крики его раздаются еще за кулисами. Но занавесь опускается, и все хохочут, все в восторге... Оркестр начинает камаринскую.

Начинают тихо, едва слышно, но мотив растет и растет, темп учащается, раздаются молодецкие прищелкивания по декам балалайки... Это камаринская во всем своем размахе, и, право, было бы хорошо, если б Глинка хоть случайно услышал ее у нас в остроге. Начинается пантомима под музыку. Камаринская не умолкает во все продолжение пантомимы. Представлена внутренность избы. На сцене мельник и жена его. Мельник в одном углу чинит сбрую, в другом углу жена прядет лен. Жену играет Сироткин, мельника Нецветаев.

Замечу, что наши декорации очень бедны. И в этой, и в предыдущей пьесе, и в других вы более дополняете собственным воображением, чем видите глазами. Вместо задней стены протянут какой-то ковер или попона; сбоку какие-то дрянные ширмы. Левая же сторона ничем не заставлена, так что видны нары. Но зрители невзыскательны и соглашаются дополнять воображением действительность, тем более что арестанты к тому очень способны: «Сказано сад, так и почитай за сад; комната так комната, изба так изба — все равно, и церемониться много нечего». Сироткин в костюме молодой бабенки очень мил. Между зрителями раздаются вполголоса несколько комплиментов. Мельник кончает работу, берет шапку, берет кнут, подходит к жене и объясняет ей знаками, что ему надо идти, но что если без него жена кого примет, то... и он показывает на кнут. Жена слушает и кивает головой. Этот кнут, вероятно, ей очень знаком: бабенка от мужа погуливает. Муж уходит. Только что он за дверь, жена грозит ему вслед кулаком. Но вот стучат; дверь отворяется, и опять является сосед, тоже мельник, мужик в кафтане и с бородой. В руках у него подарок, красный платок. Бабенка смеется; но только что сосед хочет обнять ее, как в двери опять стук. Куда деваться? Она наскоро прячет его под стол, а сама опять за веретено. Является другой обожатель: это писарь, в военной форме. До сих пор пантомима шла безукоризненно, жест был безошибочно правилен. Можно было даже удивляться, смотря на этих импровизированных актеров, и невольно подумать: сколько сил и таланту погибает у нас на Руси иногда почти даром, в неволе и в тяжелой доле! Но арестант, игравший писаря, вероятно, когда-то был на провинциальном или домашнем театре, и ему вообразилось, что наши актеры, все до единого, не понимают дела и не так хотят, как следует ходить на сцене. И вот он выступает, как, говорят, выступали в старину на театрах классические герои: ступит длинный шаг и, еще не

придвинув другой ноги, вдруг остановится, откинет назад весь корпус, голову, гордо поглядит кругом и — ступит другой шаг. Если такая ходьба была смешна в классических героях, то в военном писаре, в комической сцене, еще смешнее. Но публика наша думала, что, вероятно, так там и надо, и длинные шаги долговязого писаря приняла как совершившийся факт, без особенной критики. Едва только писарь успел выйти на середину сцены, как послышался еще стук: хозяйка опять переполошилась. Куда девать писаря? в сундук, благо отперт. Писарь лезет в сундук, и бабенка его накрывает крышкой. На этот раз является гость особенный, тоже влюбленный, но особого свойства. Это брамин и даже в костюме. Неудержимый хохот раздается между зрителями. Брамина играет арестант Кошкин, и играет прекрасно. У него фигура браминская. Жестами объясняет он всю степень любви своей. Он приподымает руки к небу, потом прикладывает их к груди, к сердцу; но только что он успел разнежиться, — раздается сильный удар в дверь. По удару слышно, что это хозяин. Испуганная жена вне себя, брамин мечется как угорелый и умоляет, чтоб его спрятали. Наскоро она становится за шкаф, а сама, забыв отпереть, бросается к своей пряже и прядет, прядет, не слыша стука в дверь своего мужа, с перепуга сучит нитку, которой у нее нет в руках, и вертит веретено, забыв поднять его с пола. Сироткин очень хорошо и удачно изобразил этот испуг. Но хозяин выбивает дверь ногою и с кнутом в руке подходит к жене. Он все заметил и подкараулил и прямо показывает ей пальцами, что у ней спрятаны трое. Затем ищет спрятанных. Первого находит соседа и провожает его тузанами из комнаты. Струсивший писарь хотел было бежать, приподнял головой крышку и тем сам себя выдал. Хозяин подстегивает его кнутиком, и на этот раз влюбленный писарь прискакивает вовсе не по-классически. Остается брамин; хозяин долго ищет его, наконец находит в углу за шкафом, вежливо откланивается ему и за бороду вытягивает на середину сцены. Брамин пробует защищаться, кричит: «Окаянный, окаянный!» (единственные слова, сказанные в пантомиме), но муж не слушает и расправляется по-свойски. Жена, видя, что дело доходит теперь до нее, бросает пряжу, веретено и бежит из комнаты; донцо валится на землю, арестанты хохочут. Алей, не глядя на меня, теребит меня за руку и кричит мне: «Смотри! брамин, брамин!» — а сам устоять не может от смеху. Занавесь падает. Начинается другая сцена...

Но нечего описывать всех сцен. Их было еще две или три. Все они смешны и неподдельно веселы. Если сочинили их не сами арестанты, то по крайней мере в каждую из них положили своего. Почти каждый актер импровизировал от себя, так что в следующие вечера один и тот же актер одну и ту же роль играл несколько иначе. Последняя пантомима, фантастического свойства, заключилась балетом. Хоронился мертвец. Брамин с многочисленной прислугой делает над гробом разные заклинания, но ничего не помогает. Наконец раздается «Солнце на закате», мертвец оживает, и все в радости начинают плясать. Брамин пляшет вместе с мертвецом, и пляшет совершенно особенным образом, по-брамински. Тем и кончается театр, до следующего вечера. Наши все расходятся веселые, довольные, хвалят актеров, благодарят унтер-офицера. Ссор не слышно. Все как-то непривычно довольны, даже как будто счастливы, и засыпают не повсегдашнему, а почти с спокойным духом, — а с чего бы, кажется? А между тем это не мечта моего воображения. Это правда, истина. Только немного позволили этим бедным людям пожить по-своему, повеселиться по-людски, прожить хоть час не поострожному — и человек нравственно меняется, хотя бы то было на несколько только минут... Но вот уже глубокая ночь. Я вздрагиваю и просыпаюсь случайно: старик все еще молится на печке и промолится там до самой зари; Алей тихо спит подле меня. Я припоминаю, что, и засыпая, он еще смеялся, толкуя вместе с братьями о театре, и невольно засматриваюсь на его спокойное детское лицо. Мало-помалу я припоминаю все: последний день, праздники, весь этот месяц... в испуге приподымаю голову и оглядываю спящих моих товарищей при дрожащем тусклом свете шестериковой казенной свечи. Я смотрю на их бедные лица, на их бедные постели, на всю эту непроходимую голь и нищету, — всматриваюсь — и точно мне хочется увериться, что все это не продолжение безобразного сна, а действительная правда. Но это правда: вот слышится чей-то стон; кто-то тяжело откинул руку и брякнул цепями. Другой вздрогнул во сне и начал говорить, а дедушка на печи молится за всех «православных христиан», и слышно его мирное, тихое, протяжное: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!..»

«Не навсегда же я здесь, а только ведь на несколько лет!» — думаю я и склоняю опять голову на подушку.